

Старченко Николай Николаевич

МАТЬ

— Ничего-ничего, Василек, мы их в шапку. Вон как родители волнуются... Да не бойтесь, не бойтесь, мы не кошки, мы люди...

А я-то из-за ветру не сразу разобрала, что это ты плачешь. Думала, поросята в пуньке, а стала прислушиваться — не, чей-то дитенок на улице заходится весь... Глядь в окно, а ты над разбитой скворечней. И что ж это твой батька так плохо привязал?

Во-от, на крылечке пока птушенята посидят, а я за струментом схожу. Гляди, один, кажись, бедняжка зашибся... Только и жизни, что вылупился...

И мой-то Ванечка... Аккурат ровесник тебе, Василек, — на седьмое лето тогда пошло...

Это у вас дверь открыта? Беги-ка закрой да гвоздков помельче пошукай, а то у нас одни костыли. Скоко часов-то? У-у, долго моих и твоих с работы дожидаться. Да ничего, я хоть и старая, и баба, а уж птушьё хватулку как-нибудь подправлю — даром рази без мужика сорок годов живу? Да и делов капля: стенку вот эту заменим да крышу еще.

Хата-то наша до войны вон там, повыше, стояла. А еще выше погреб, огород, изгородь, а на изгороди, на еловых сухих жердинах, — две скворечни. Так перед глазами и стоит... Не, ты ко мне другой стороной поверни и придержи вот так. Ишь, гвоздь-то гнуться хочет. Чувствует старуху...

А Ванечка мой, вот как ты, кинулся... Мы к погребу под-бегли, а снаряд прям под скворечню ударил — и они сразу валиться стали, а изгородь задымилась, огнем запыхала...

Покуль я старую мать свою (прости, покойница, что и на тебя вину кладу) с грудной Ленкой в погреб ссаживала, Ванечку из виду и выпустила — а он как раз к скворечням, птушенят вызволять. А тут второй снаряд...

А теперь сходи-ка вон в гараж, там у зятя много всяких проволок. Привяжем покуль к частоколу. Птушенят родители накормят, успокоят. А вечером их батька твой на место поднимет.

Я-то через год после того вот на эту березу сама лазила скворечню вешать. Прилетел скворушка, запел... И я ему подпела, ой как подпела, деточка, — водой отливали...

Не, не они тут виноваты, не они сыночка забрали... Хоть и горькая, а радость они моя. Прилетят, крылушками трепенут, запоют — и как вроде голос мне сынок подаст.

1978 г.

ПОКАЗАТЬ ДОРОГУ

— Эй, пионер, на Дегтяревку по этой дороге? — в двух шагах от меня остановился мотоцикл — большой, черный, с коляской, — и двое пожилых, не нашего, не деревенского вида мужчин строго и требовательно смотрели на меня.

Я не сразу понял, что у меня спросили: уж очень неожиданным было появление на глухой дороге этих незнакомых людей. Еще минуту назад я шел в полной тишине, шел один — меня оставили после уроков по арифметике — и не успел даже сообразить, что это за дробный, сухой стрекот летит навстречу по лесу...

— Так туда мы едем?

— Не-е, — робко, нерешительно ответил я, глядя на сизый дым, что непрерывно, толчками вырывался из двух сплюсненных на концах труб работающего мотоцикла, — не туда. Совсем в другую сторону заехали...

— Что за черт, — ругнулся мотоциклист в танкистском шлеме и кожаной куртке, — а нам та баба сюда показала. А ты, парень, ничего не путаешь?

Я еще больше растерялся, а мотоциклист вдруг предложил:

— Садись, покажи, если знаешь.

Я сел (первый раз в жизни) в коляску мотоцикла, и мы покатили... Как восхитительно пахло от этой горячей запыленной машины, какой легкой оказалась она на ходу и как чутко отзывалась на волю своего хозяина!

Я то и дело победно выбрасывал вперед руку, показывая, куда ехать. Мотоциклист только головой крутил, глядя, как я разбираюсь в мудреном переплетении проселков и тропинок. И вот наконец выбрались на ровную, гравийную дорогу — вдалеке виднелись крыши Дегтяревки.

— Ну, пионер, ну, молодец! — с удивлением рассматривая меня и мой измятый пионерский галстук на шее, похвалил мотоциклист. — Такая путаная дорога, а тебя хоть с завязанными глазами пускай...

Он развернул мотоцикл — «подвезем Сусанина такого до дому». И правда, подвезли до самой деревни. Оба крепко, как равному, пожали мне руку, поблагодарили...

Сколько лет прошло, а так остро живет во мне родившееся тогда чувство: как это все-таки хорошо — показать кому-то дорогу!

1978 г.

Липы

Липы — их было две — росли на середине деревни, на взгорке. Вековые, могучие, хорошо видные отовсюду. Когда они зацветали, по улице и проулкам плыл сильный, плотный запах меда.

Возле лип были все наши игры. И часто мать, возвращаясь с поля, выговаривала мне:

— Что ж ты, старшун? Поросята, гляжу, не кормлены — угол грызут. Небось возле лип терся? — Вздыхала: — Ох уж вам эти липы...

Но сама, когда нам случалось вместе идти домой из лесу или с покоса, всегда первой показывала рукой:

— А вон и липы наши... Считай, дома мы.

Никто в деревне не знал, когда они были посажены. По рассказам стариков, липы от веку стояли такими — высокими, раскидистыми, закрывающими своей прохладной тенью всю ширину улицы. Помню, как гордились мы, дети, своими липами, как отвечали сверстникам из соседней Дегтяревки, куда мы ходили в школу, на их пренебрежительное: «Захолустные, ни клуба, ни магазина не имеете». — «А у нас липы! Таких нигде нет!»

...В то апрельское утро я опаздывал в школу и почти бежал с той особой, радостной легкостью в ногах, что вселяется с первыми проталинами, после долгой зимы. На переезде через разлившуюся Витаву меня догнал верхом на коне наш деревенский конюх — вез на почту посылку.

— Слышь, Сашка... — негромко сказал он, поравнявшись, — липа маленькая упала.

— Как упала? Я же только...

Не договорив, я быстро оглянулся. На горизонте, там, где всегда темнели липы — одна была чуть-чуть ниже другой, и поэтому ее звали «маленькой», — я увидел только одну верхушку...

— Аж стон пошел, как вдарилась. Конюх вздохнул, подбирая поводья:

— Хочешь, подвезу? Садись.

Мы ехали открытым полем, я сидел неловко, на самой холке, и все оборачивался назад. Конюх грустно усмехался:

— Что, не верится? Жизнь, брат...

Тише стали наши игры в то лето... В ветреные дни матери, с опаской поглядывая на одинокую липу, все чаще говорили нам:

— Нашли бы вы себе другое место. Ишь, как скрипит... А однажды кто-то предложил:

— Надо ее спилить. А то как громозднет...

Как-то дико прозвучали эти слова. А вскоре мало-помалу начали соглашаться — в самом деле, как бы беды не вышло.

Но старая липа умерла сама. Глухой октябрьской ночью, в ливень — мало кто слышал, как тяжело, в последний раз вздохнула она, рухнув на черную осеннюю землю...

1978 г.

ШЛИ ИЮЛЬСКОЙ РОЖЬЮ...

Мише пять лет. Лето, июль, он в белой кепочке, майке, штанишках с помочами крест-накрест и в непривычных ему сандалетках. Мишу ведут в гости, к тете в соседнюю деревню. Он бежит впереди отца — спокойно ходить Миша еще не умеет, — бежит, раскинув руки, принимая ладонями мягкие теплые толчки налитых колосьев, что склонились с обеих сторон над узенькой полевой тропкой. Он поминутно оглядывается, радостно кричит:

— Папа, догони!

Отец, улыбаясь, учащенно топчет ногами, делая вид, что не может догнать, а Миша прямо из кожи лезет... Но вот отец догоняет его, подхватывает на руки:

— Хватит, сынок, устанешь — еще далеко идти... Но Миша вырывается, хочет опять на землю.

— Ну ладно, — соглашается отец, — беги навстречу маме — вон она как от нас отстала.

Он поднимает Мишу над головой, и Миша видит ныряющий вдалеке во ржи голубой мамин платок.

Миша срывается с места, подпрыгивая, мчится по тропке, представляя: вот он сейчас неожиданно подбежит к маме, крикнет «Ах!», она обрадуется и удивится, а он повернет назад и опять побежит, стараясь изо всех сил: «Мама, смотри, как я бегаю!» И мама будет хвалить его, скажет, что он уже совсем большой.

Миша уже долго бежит, а мамы всё нет и нет. Он останавливается. И вдруг... Миша даже присел от неожиданности. С той стороны, откуда должна была появиться мама, прямо на него стремительно катился большой, в Мишин рост, серый и ушастый шар.

Миша замер, немея от страха. И тот, ушастый, тоже замер в двух шагах от него, и Миша увидел, что у этого страшного живого шара есть тонкие длинные ноги. Он хорошо рассмотрел замершие на секунду растопыренные лапы с маленькими, как гнутые гвоздики, светлыми коготками. Шар взлетел в воздух, метнулся в сторону и пропал во ржи, а Миша вскочил и помчался назад, к отцу. Сначала бежал молча, а когда увидел отца, заревел.

Отец, узнав, в чем дело, рассмеялся:

— Это же заяц! Помнишь, я тебе картинки показывал? Он не страшный...

Тут подошла мама, и Миша, уже успевший вытереть слезы, бросился к ней, обхватил обеими руками ее теплую ногу, потом стал рассказывать про зайца, что тот не хотел уходить с дороги, а Миша его все-таки прогнал.

Отец улыбался маме, говорил:

— Смотри, какой у нас сын!

Мама не слушала его и с беспокойством расспрашивала Мишу:

— Напугался, сынок? Дай я тебя поцелую.

Миша не давал себя целовать, вырывался, а мама качала головой и укоризненно говорила отцу:

— Надо же, додумался: ребенка послал одного! Хорошо заяц, а если б волк?

— Какой волк! День ведь... — смеялся отец и лукаво подмигивал Мише.

...Теперь у Миши уже у самого есть сын Миша, черноглазый подвижный малыш. И Миша все собирается свозить его на родину, пробежать с ним по той заветной тропке в июльской ржи. Ему очень хочется, чтобы и у его сына там произошло то же, что когда-то произошло с ним. Но так, наверное, не бывает в жизни...

1977 г.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

— Как у тебя с уроками, Федь? — отец, открыв дверь, стоял на пороге в мокрых, в земле и снеге, резиновых сапогах. Фуфайка на нем была расстегнута, худое лицо разругалось, глаза блестели. — Вечером успеешь? Тогда давай в сад!

Каждой весной, как только появлялись первые редкие проталины, отец с Федей брали лопаты и шли в свой яблоневый сад. Снег здесь всегда глубокий, слежавшийся, и если его не разбросать, не растает до мая.

Федя скоро скинул фуфайку, остался в одном тонком, вылинявшем свитере — приятно-зябко было ему чувствовать смешанное, сыроватое дыхание просыпающейся земли, непривычную после зимы легкость в движениях...

А когда шли из сада, Федя блаженно зажмурился, подставив свое круглое доброе лицо теплему свету вечерней зари, сказал протяжно:

— А ведь это, пап, моя последняя весна в деревне. Если поступлю в институт, конечно...

Через неделю, когда в саду стало подсыхать, они пошли копать землю. Копали не в ряд, а с разных концов сада, и Федя не сразу заметил, что отец, отбросив лопату, неловко, боком сидит прямо на свежей, черной земле. Когда подбежал, отец поднял голову — его как-то сразу обострившееся и уменьшившееся лицо болезненно сморщилось:

— Видишь, опять скрутило...

К вечеру ему стало совсем плохо, и Федя с матерью побежали запрягать лошадь. До города было пятнадцать километров размытой дороги, солнце садилось, и Федя не жалел кнута, с тревогой поглядывая на белое, с закрытыми глазами лицо отца.

А когда проезжали Нечаев хутор, отец вдруг очнулся, приподнялся на локте, долгим взглядом посмотрел кругом и сказал Феде, показывая на заросший кустарником пустырь, над которым одиноко высились три вяза:

— Вот здесь, сын, я родился...

И опять лег, тихо попросив пить. Мать дала ему напиться, пролив воду из плетеной бутылки, сняла с головы платок, вытерла отцу мокрый подбородок и шею, заплакала...

Уже совсем стемнело, когда они въехали в лес. Отец снова открыл глаза, застонал... Мать тут же наклонилась к нему:

— Может, нам не так быстро ехать? Тебе тряско?

— Ага. Не надо коня зря мучить... Глубоко два раза вздохнул, удивленно говоря:

— Как сильно березой пахнет... Пар вон какой стоит... Помоги-ка мне...

Он говорил трудно, задыхаясь, а пока приподнимался, совсем выбился из сил, и Федя не сразу услышал его шелестящий шепот:

— Погоди. Тише...

Они остановились. Со всех сторон плыл какой-то неясный, полный приглушенных, мягких звуков шум — тот особенный, что бывает только в ночном весеннем лесу.

— Поехали, поехали, Федь... — зашептала мать, легонько толкая сына в руку. Но через минуту отец опять попросил:

— Тише...

В наступившей тишине было хорошо слышно, как где-то рядом выбирается на дорогу припоздавший, наверное, последний в эту весну ручей...

1978 г.

НА ГЛУБИНЕ

Деревня называется красиво — Зеленый Бережок. Дворов немного, два десятка. А до войны было больше сотни. Страшной бороной прополол фронт Зеленый Бережок... Здесь проходила

Орловско-Курская дуга.

— Проходила... — неохотно подтверждает Егор Егорович Анисимов, восьмидесятилетний старик — бывший артиллерист и бывший до совсем недавнего времени колхозный кузнец. — Да только сейчас вы в газетах отчего-то поминаете только Курскую дугу. По радио и телевизору бубнят: Курская да Курская. В войну и сразу после войны все говорили и писали: Орловско-Курская дуга. А в последнее время Орловскую стали отбрасывать... Почему же так? Под Орлом, в Вяжах, вон какой прорыв сделал генерал Горбатов! А в Моховском лесу — блиндаж самого Рокоссовского. В чем же тогда дело? Чем это орловские стали хуже курских? Должна быть справедливость!

Егор Егорович рассерженно гасит новым начищенным сапогом окурок, встает со скамейки. На его тоже новой синей рубахе поблескивает старым серебром лишь одна медаль — «За отвагу». Юбилейных наград и всяких ветеранских значков он не носит.

Сегодня 9 Мая. Егор Егорович был утром на митинге у братской могилы, здесь его и поймал этот молоденький заезжий корреспондент, и вот уже полчаса старается разговаривать. Вот спросил, касаясь мирной жизни ветерана-фронтовика, на сколько процентов он перевыполнял план в кузнице, а Анисимов в ответ еще более недовольное:

— Откуда я знаю? Это вы, молодые, сейчас всё на проценты меряете... Без дела и часу не сидел. Всю жизнь так...

Встав со скамейки, Егор Егорович скупым, сдержанным жестом приглашает корреспондента к реке. Она рядом, прямо перед домом. Возле реки есть старица — заросший по краям болотной травой глубокий омут, который даже в жаркое лето не мелеет: в нем бьют родниковые ключи. Медленно, как будто впервые, обвел взглядом старицу, показал рукой:

— Там весь экипаж с танком скрылся. До сих пор на дне. Наши, русские...

— Это точно?

— Куда уж точней... В Орловско-Курскую битву. На рассвете реку форсировали, старицу не заметили. А тут глуби-на-а... Танкисты не смогли выскочить.

— Так неужели за все эти годы не пытались поднять?

— Где ж его поднимешь? На такой глубине...

— Ну, про это я в своей газете напишу. Что-нибудь придумаем. А имена танкистов известны?

— Да нет... Всё ж в бою было, тут земля горела.

— А следопыты?..

— Школьники-то? Искали, как же, искали... И в архивы запросы делали. И водолазы тут недавно спускались... Всё подтвердилось, есть танк на дне. Уже весь илом зарос. Попробуй его теперь стронь с места! Да и боезапас может рвануть...

Вернувшись назад к дому, снова садятся на скамейку в сквозящей, веселой тени раскидистой рябины.

— Да что там рассказывать про эпизоды... — отнекивается Анисимов. — Вот в черепку осколок сидит. — Он снимает новую кепку, осторожно проводит ладонью по лысине. — Вчера заныл — к непогоде, значит. А сегодня всё ж солнце. И вообще не раньше завтрашнего дождь пойдет. Законно говорю! На Девятое мая всегда солнце... А почему так? Знаешь?

Корреспондент молчит, смущенно-выжидательно улыбаясь.

— Не знаешь! — удовлетворенно кивает Егор Егорович. — В секрете держат. Ну да мне довелось услышать от знающих людей...

На рейхстаге когда наши знамя установили? Правильно, тридцатого апреля. Могли бы этот день сделать Праздником Победы. Или, скажем, восьмого мая, когда Германия уже папа. Или десятого... А сделали все ж девятого! Знаешь почему? Дал Сталин задание этим самым... Что погоду, словом, определяют... да-да, синоптикам, узнать, какой день в первой декаде мая у нас в России получается самым солнечным. За триста, а может, и пятьсот годов просмотрели всякие летописи и узнали, что самый устойчивый погодный день — девятого мая. И сказал Сталин: в этот день и сделать Праздник Победы. Вот так! Что улыбаешься, не веришь? А ты примечай теперь — и сам убедишься. Другой раз вроде с утра и захмарит, а потом всё равно солнце выйдет.

После обеда корреспондент уехал, а Егор Егорович, подремав часок, занялся по хозяйству. На закате снова пришел к старице. Долго стоял, сняв кепку, поглаживая ноющий в темени осколок, глядя, как «толкут толокно» над водой комары. Стоял молча, только однажды хрипло проговорив:

— Так и не достанут... На такой глубине...

У Егора Егоровича Анисимова в сорок третьем году пропал без вести восемнадцатилетний сын-танкист.

1987 г.

НА РОДИНЕ ХОРЯ И КАЛИНЫЧА

Еще в студенческие годы, в величественном граде на Неве, основанном Петром Великим, мне мечталось обязательно побывать в деревушке Хоревке, основанной героем рассказа Ивана Тургенева «Хорь и Калиныч». Помню, приехав после окончания университета в Орел, став работать корреспондентом газеты «Орловская правда», я первым делом поинтересовался: а как бы мне съездить в командировку на родину Хоря и Калиныча? Но оказалось, что деревушка Хоревка находится не в Орловской, а в Калужской области. Несколько раз пытался всё же изловчиться и доскочить до нее то через Волховский район, то находясь в селе Льгов (помните рассказ Тургенева с одноименным названием?) Хотынецкого района, но безуспешно—на стыке двух областей «традиционно» было бездорожье, а пешком добираться не позволял короткий срок командировки... Потом меня перевели на работу в Москву, шли годы, а мечта увидеть Хоревку нисколько не ослабевала, а наоборот — она стала для меня равноценна мечте увидеть Париж или Нью-Йорк. Возможно, это кому-то покажется странным, но это было так.

С той юношеской поры минуло уже четверть века, я успел побывать и в Париже (дважды), и в Нью-Йорке, и во многих других городах и странах, объездил, считай, полмира, и прежде всего и больше всего журналистом я ездил, конечно же, по родной стране, но вот увидеть Хоревку по-прежнему не удавалось. И вот всё ж собрался! Настроился обязательно добраться до заветного места, хотя ниточки шоссе-ных дорог на карте этого отдаленного калужского угла резко утоньшались, слабели и совсем пропадали.

— Нет, тут раньше была хорошая дорога, — не соглашается со мной мой провожатый Григорий Королев.

Это при том, что машину-вездеход мы оставили в трех километрах, уже было не проехать никак, а сами идем по едва заметной, зарастающей дороге среди густого леса.

— Вот видите, какая насыпь была в топких местах. Следили за дорогой... Ведь тут кругом болота от веку. — Григорий проводит рукой вкруговую. — Хоря-то барин выселил именно в болото...

— Как выселил? По рассказу Тургенева Хорь сам попросился...

— То по рассказу, а по жизни было так: Хорь-то, его Родионом Григорьевичем звали, а фамилия Хорев, у барина в соседнем селе Крапивна был кучером. Завелась у него любовь с одной дворовой девкой, а к ней приказчик тоже стал подбиваться. Ну, Хорь и долбанул его пудовым кулаком разок, а сила-то была немереная... Словом, пришиб насовсем приказчика. А барин рассудил по-своему: зачем, мол, такого работающего человека в каторгу отдавать? Иди-ка ты со своей разлюбезной на болото, корчуй, паши там, ставь, словом, хозяйство. А поставишь — барину оброк платить будешь.

Родились у Хоря и его жены двенадцать сыновей и одна дочь. Так и основали Хоревку. Увидели в округе, что Хорь-то молодцом оказался, еще к нему в соседи две семьи переехали — Феношины и Ждановы. Тоже работающие были, но Хорь, конечно, их опережал... Водяную мельницу поставил, коноплей занимался, льном. А пруд какой сам выкопал! До сих пор глубокий и караси водятся.

— А сам-то, Гриша, не из родни Хоря?

— Нет, мой дед пришел в зятя в Хоревку из Красной Поляны. Гриша останавливается, показывает мне на опушку леса:

— Вот тут мы по пути в десятилетку, в Афанасово, сходились... Перекрестье дорог. Много нас тогда, ребят, было! Из Александровки, Красной Поляны, Бобровки, Петуховки, Хоревки... Сейчас всех этих деревень уже нет... А ведь в одной только Хоревке сорок дворов было!

Да, я уже знаю, что Хоревка умерла, и от этого больно щемит сердце. Задумчиво лицо и у Гриши. Ему тридцать семь лет, работает шофером в заповеднике «Калужские засеки», и, хотя эти места не входят в заповедник, по делу здесь не приходится бывать, но он бывает здесь «по душе» — вот недавно, на Троицу, навестил, а до этого на Радоницу поклонился родным могилам.

У меня саднит душа, что вот же не успел, не застал Хоревку... Правда, и времени после студенческих лет было на это не так уж и много — еще в 1982 году уехала отсюда последняя семья. Вовсю действовала тогда губительная для России программа сселения «неперспективных» деревень! Гриша с горечью рассказывает, что и дома-то людям продать было некуда, только здание школы перевезли. Часть домов сами пожгли, чтобы хоть страховку получить, а оставшиеся браконьеры прикончили. Последнюю усадьбу сожгли в 1990-м. Теперь пепелища уже густо бурьяном заросли...

— А яблони и груши продолжают хорошо плодоносить, — замечает Гриша. — В прошлом году даже медведь вышел из леса яблоки подбирать. А его самого браконьеры «подобрали», положили как раз рядом с местом усадьбы Хоря...

— Да что же это такое?! Ведь совсем мало медведей в калужских лесах осталось...

— Да, вот так, не щадят ничего и никого. А Хорь-то, по преданию, когда медведи к нему на пасеку заходили, то не бил их, не колол рогатиной, а если мишка не особо большой, то возьмет да и перебросит его через частокол из бревен назад в лес. Когда дойдем, я покажу то место, где пасека стояла...

Что ж, пока мы дойдем, пора бы оживить в памяти читателей и сам первоисточник — рассказ «Хорь и Калиныч». Опубликован в 1847 году в журнале «Современник» в разделе «Смесь» с подзаголовком «очерк». А очерк, как известно, предполагает реальную, документальную основу. Небольшое по объему произведение сразу привлекло внимание своей свежестью, сочностью красок, знанием жизни простого народа. Указывая на жизненную достоверность «Хоря и Калиныча», Виссарион Белинский написал Тургеневу: «Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию...». Тургенев прожил у Хоря три дня и убедился, что у этого мужика государственный ум, что он «много видел, много знал и от него я многому научился». И дальше: «Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика». Услышали это и передовые люди России, рассказ имел огромный успех, и во многом именно это подвигло писателя продолжить начатую тему и написать великую книгу «Записки охотника» — подлинный гимн русской природе и русскому народу. Как утверждают, Тургенев прислал Хорю, как грамотному, рассказ, и старик с гордостью читал его своим гостям. Интересно, что через много лет с Хорем познакомился и Афанасий Фет. Вот что он пишет: «В запрошлом году, в сезон тетеревиной охоты, мне привелось побывать у одного из героев тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Я ночевал у самого Хоря. Заинтересованный мастерским очерком поэта, я с большим вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь за 80 лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовскому сложению лета нипочем. Он сам был моим вожатым в лесу, и, следуя за ним, я устал до изнеможения; он ничего...».

Гриша говорит, что до Хоревки уже недалеко, и я спрашиваю: знал ли он кого из прямых потомков Хоря?

— А как же! Помню деда Федота, до 90 лет прожил в Хоревке, а потом его дети куда-то в Подмоскovie забрали, и сколько там еще прожил, не знаю. Правда, фамилия у него была не Хорев, а Фетисов. Опять интересный эпизод жизни Хоря! Один из его сыновей, Фетис, был непослушным, так Хорь лишил его своей фамилии! Так и записали того по имени —

Фетисовым. Вообще отличался твердыми правилами. Когда его внук Евдоким бежал с солдатской службы, Хорь не допустил его домой и, связанного, сам представил начальству.

— Надо сказать, — продолжал Гриша, — тут не только Хоревы помногу жили. Мой дед тоже 90 лет отходил по этой земле. Места-то у нас, сами видите, какие...

Это правда, места здесь — одни из самых красивых в России. Мы выехали из районного центра, села Ульяново, рано, только светать стало, а сейчас седьмой час утра, солнце понемногу начинает проникать в лес, роса блестит, празднично сияют белые цветки лесной клубники и земляники, поют птицы, свежо и густо пахнет утренним русским лесом начала лета...

Впереди обозначается большая луговина, и Гриша говорит, что вот уже и начинается Хоревка. Здесь были огороды. А вот тут стоял клуб, в который сходились вечерами с окрестных деревень. Я жадно на все смотрю. Старые вербы, наклонившиеся, а то и разодранные равнодушными ветрами, да пасынки столбов разобранной электролинии указывают направление бывшей улицы. Кое-где выглядывают из кустов и бурьяна остатки печей...

У фундамента бывшей школы мы останавливаемся. Тут высокие тополя и красивый пруд. На его берегу стоял и дом Королевых, в котором Гриша родился... Чувствуется, ему хочется здесь постоять подольше, но мне не терпится подойти к месту, где была усадьба Хоря.

— Он выбрал для построек среди болота песчаный пригорок, и сейчас, видите, выделяется, — поясняет Гриша, когда мы подошли к просторной травянистой поляне. — Колодец Хоря, жаль, заплыл, а вот пруд по-прежнему глубок.

Остатки старой отводной канавы. Именно здесь стояла небольшая мельница, сооруженная Хорем на канаве, которую он вырыл для осушения болота. Подумать только: поставить мельницу не на речке, где вольное течение, а на канаве и принудить и тут воду работать! Потрясающее трудолюбие!

На мое восхищение-удивление Гриша согласно кивает:

— Сила мужик! По учебникам нам про каких-то бедных, безлошадных мужиков всё толковали, а Хорь тоже мужик, а имел двенадцать лошадей! Хватало не только крестьянское хозяйство вести, а и извозом детям, внукам заниматься...

Гриша помолчал, задумчиво оглядел округу, добавил:

— И в моем детстве тут еще кони по лугу ходили...

Он чуть отвернулся в сторону, и у меня зацепило в глазах... А было это 5 июня 1999 года, за день до 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мне вспомнилось, как читал я воспоминания Тургенева о его единственной встрече с великим поэтом — юноша Тургенев пришел в Петербурге к знакомым в гости и в прихожей столкнулся с каким-то невысоким, смуглым господином в бакенбардах, который, уходя, отвечал провожавшему его хозяину: «Хороши же наши министры!» Это и был Пушкин, и Тургенев до конца дней своих сожалел, что так на бегу всё получилось и его не познакомили с гением России.

Да, хороши же наши министры, наши правители! — хочется воскликнуть словами Пушкина. Как же можно было допустить и местным, и областным, и всесоюзным, а потом и всероссийским властям, чтобы Хоревка умерла, чтобы в ней не осталось ни единой (пусть и пустой) избы, никакого знака-заметы для будущих поколений. Ведь именно с «Хоря и Калиныча», с этого места вышла почти вся классическая литература о русском крестьянстве и русской природе!

Вернувшись из Хоревки, куда я только не обращался — и в самые высокие всероссийские организации, и в местные — но никто не откликнулся на моё предложение закрепить память о Хоревке, создать здесь своеобразный музей под открытым небом.

Отозвался только мой старший друг, знаменитый журналист и писатель Василий Михайлович Песков. Поздним зимним вечером позвонил и сказал:

— Перечитал сейчас «Хоря и Калиныча»... И твой взволнованный рассказ о поездке в Хоревку сразу вспомнился. Знаешь что, доживем до лета — давай туда съездим!

Не раз мы потом говорили о будущей поездке. Василий Михайлович то и дело возвращался к этой теме:

— Огромный успех «Хоря и Калиныча» у современников Тургенева объясняется тем, что они увидели не просто яркие, колоритные типы людей, в них угаданы были характерные черты всего народа. «Оба приятеля несколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных». Да, Тургеневым верно были угаданы две важные черты в характере русских людей... Без хозяйственной хватки Хоря ничего немисливо обустроить, но и без калинычей жизнь будет скучна... «Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу».

К июню 2002 года у нас была большая, кленовая доска с резьбою: «На этом месте стояла изба Хоря (рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч») и деревня Хоревка». Это нам помог приятель Василия Михайловича из города Саранска, директор реставрационных мастерских Анатолий Митронькин. А давний мой знакомец, директор заповедника «Калужские засеки» Сергей Федосеев заранее позаботился о том, чтобы в нужном месте был приготовлен дубовый столб. С большим волнением ступил я снова на зарастающую улицу Хоревки. Первым делом показываю Пескову пруд, выкопанный самим Хорем. Пруд за прошедшие три года обмелел, особенно нынешняя жара допекает. А вот здесь стояла изба Хоря, многочисленные хозяйственные постройки. Неожиданно на пригорке натыкаемся на землянику — всё красно от спелых ягод! И опять вспомнился тургеневский рассказ: «Калиныч вошел в избу с пучком земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря... Я с изумлением поглядел на Калинина: признаюсь, не ожидал таких нежностей от мужика». Василий Михайлович Песков первым с радостью принялся за ягоды, приговаривая: «Возможно, именно на этом бугре и рвал землянику Калиныч!»

Хороша земляника «от Калиныча», но снова возвращаемся к месту, где стояла усадьба Хоря. Песков предлагает установить памятный знак вот тут, у растущей от старых корней молодой груши. Берется за лопату, сноровисто копает ямку, а я за свое любимое занятие — выкашиваю косой площадку в густой траве. Ребята из заповедника в дубовом столбе делают пропилов с пазами для доски. И вот он — волнующий миг установки памятного знака. Ненароком и к дате круглой постели — ведь в августе исполняется ровно 150 лет со дня выхода в свет непревзойденной книги И. С. Тургенева «Записки охотника».

Василий Михайлович хлопает ладонью о прочно вставший столб, шутит: «Осенью дикий кабанчик придет грушами подкормиться, почешется о наш столб...».

Мы отходим чуть в сторону, садимся в тенечке. У всех какое-то особое чувство на душе... А вот и первый посетитель памятного знака — прямо на доску уселась желтая трясогузка, беспечно чистит перышки, поглядывая на нас. Василий Михайлович, задумчиво проводив взглядом улетевшую прихорошившуюся трясогузку, с присущим ему артистизмом, что называется, в лицах изображает два мнения о только что происшедшем событии:

— Нынешний «Хорь» снисходительно усмехнется: «Надо же придумать — доска...». Но возможен тут и Калиныч. Этот воодушевится: «Доска! Господи, вот ведь как славно придумано — нет деревни, а память всё же о ней сберегается...».

Что ж, как бы то ни было, а дело сделано. На прощанье оборачиваемся: до свидания, Хоревка! Тихо вокруг. Только коростель откликнулся за хоревым прудом своей бодрой, будоражающей песней.

Хочется верить, что пройдет смутное время и, как и 150 лет назад, тургеневские строки: «Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась усадьба Хоря», — обретут явь и плоть. Это всем нам очень нужно!

* * *

Вскоре после публикации очерка в центральной печати мне позвонил директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» Николай Ильич Левин:

— Спасибо большое Вам, вместе с Василием Песковым, что отыскиали Хоревку, что установили там памятный знак! Очень хочу туда съездить, посмотреть, прикинуть, чем можем и мы помочь... Но вот как добраться? Признаться, хотелось бы вместе с Вами там побывать...

Я с радостью согласился с таким предложением, но была уже поздняя осень, и мы решили отложить совместное путешествие до лета. В середине июля установилась хорошая погода — тогда мы и собрались в дорогу. В большом калужском селе Ульянове, в конторе заповедника «Калужские засеки» нас порадовали:

— Стоит-стоит столб! Грибники, ягодники, охотники наткнутся, сильно удивляются: «Вон, оно, оказывается, какие наши места! Сам Тургенев бывал. И рассказ о наших мужиках написал такой хороший, что в школе его проходят...» А самые любопытные интересуются: «А что дальше будет, музей какой?»

— Вот мы и приехали, чтобы попробовать двинуть дело дальше...

В третий раз ступил с волнением на эту дорогу... На опушке она заросла, а вот в самом лесу чётко виднеется, только валежины, упавшие деревья местами перегораживают ее. Мой спутник с большим интересом смотрит вокруг, замечая по-хозяйски:

— Тут с бензопилой пройти, убрать бурелом — и будет вполне проезжая... — вздыхает радостно: — А какая глушь благословенная!

И как бы подтверждая эти слова, недалеко от нас, почти с обочины дороги, с грохотом мощных крыльев взлетел глухарь. Вот это да! Подошли и поняли, что здесь делала самая крупная, самая царственная птица наших лесов — глухарь принимал «ванну» на пригорке, купаясь в песке. Потом увидели следы пребывания барсука — полакомился шмелиными гнездами... А в низинке — переход косуль. Перед самой Хоревкой, при выходе из леса, снова — как и при входе в лес — дорогу перекрывают заросли кустов. Мы огибаем их стороной, и вот я останавливаю Николая Ильича у старых верб:

— Тут и начиналась деревенская улица. Двадцать лет, как она зарастает, но всё же различима до сих пор...

Я уже привычно, как записной экскурсовод, показываю и рассказываю обо всём примечательном на местности. Невольно спешу к памятному столбу, еще издали отыскиваю его взглядом. Прочно стоит, только за год потемнел, как и положено дубу, а кленовая доска по-прежнему свежо-золотистая. Очень хочется походить тут везде, тщательно осмотреть всё. Но трава в этом году высоченная, забивает собой оставшиеся фундаменты домов, другие признаки прошлой жизни... И решаем с Николаем Ильичом добраться сюда будущей весной, в апреле, когда кусты и деревья еще голы, и трава в рост не пошла, и простор везде... А чтобы мыслям-задумкам по увековечиванию этого удивительного места тоже было просторно, пригласим с собой побольше специалистов музейного дела под открытым небом. Конечно, примем любой полезный совет от всех почитателей И. С. Тургенева.

1999, 2003 гг.

«ПОЕДЕМТЕ-КА В ЛЬГОВ...»

Знающий читатель, наверное, уже вспомнил эти начальные слова из хрестоматийного рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Льгов», из его «Записок охотника». Не раз и не два призывно говаривал я эту фразу своему старшему другу, всем известному Василию Михайловичу Пескову. И вот прошлым сентябрем, в последних числах месяца, собрались в Льгов.

Сначала, как и положено почитателям Тургенева, прибыли в Спасское-Лутовиново, заночевали там. А дальше отправились уже вдвоем — вместе с директором этого мемориального и природного музея-заповедника Николаем Ильичом Левиным. День выдался солнечный, золотая осень уже зажигала в перелесках свои восхитительные костры — особенно пылали клёны. А правили мы той самой дорогой, по которой полтора столетия

назад ездил в Льгов охотиться на уток Тургенев.

Орловский пейзаж очень живописен, лесостепные дали просторны, волнисты, с высокого места видно на много верст... Вот издали завиднелся своими старинными церквями древний городок Волхов, за немалые века своей истории давший России среди многого другого доброславного и замечательного поэта Алексея Николаевича Апухтина, который здесь родился в 1840 году. Пожалуй, каждый слышал и с эстрады, и по радио, и в плохоньком ресторанчике романс «Пара гнедых», но, к сожалению, значительно меньше знают другие его чудесные стихи о природе, о любви, а также своеобразные, яркие прозаические произведения. Любопытный случай был тут с Тургеневым-охотником: остановился на постоялом дворе пообедать, а набожная хозяйка ни за что не хотела пускать на чистую половину легавую собаку Бубульку: как, мол, так, пса пускать — тут иконы висят! С большим трудом Тургеневу удалось убедить хозяйку, что Бубулька — исключение из всех собак...

Я не могу удержаться при виде Волхова, чтобы не рассказать своим спутникам, как много лет назад, юным корреспондентом газеты, останавливался здесь в гостинице, по-домашнему уютной, со скрипучей деревянной лестницей, и как смутила меня живоглазая заведующая, воскликнув: «Ой, какой молоденький уполномоченный!» — и как на ее возглас кто-то выглянул из соседнего номера и тут же пригласил меня вместе закусить. Там оказалась целая компания очень душевных, с открытыми, благородными лицами пожилых, но крепких еще и здоровьем, и духом мужчин, приехавших из дальних сёл на какое-то районное совещание «по линии культуры и образования», а фамилии их меня просто потрясли: Сумароков, Крестовоздвиженский и Шеншин!

Въехали в Волхов, и снова, как и четверть века назад, приятно удивил и порадовал этот небольшой уездный город, сумевший сохранить свои старинные улицы и улочки, так лирично спускающиеся к живописной реке Нугрь. А во время небольшой прогулки по городу Василий Михайлович Песков не раз восхищенно оборачивался на встречавшихся девушек и женщин: «Да тут не только фамилии родовитые... Сколько истинных красавиц!» — «Железной дороги сюда, слава Богу, не провели, вот и не вывезли лучший генофонд...» — полусерьезно-полушутливо отвечал я. А когда остановились у бывшей (и нынешней!) гимназии, издали притягивающей взгляд и своим великолепно отреставрированным, архитектурно совершенным зданием, и стайками опрятно одетых, стройных, с чистыми взглядами гимназистов, невольно и сладостно подступило к сердцу: а всё ж есть, есть еще надежда на возрождение России...

Вот только бы помочь болховцам восстановить свои удивительные, величественно-державные соборы! Теперь уже все слышали про недавно возрожденный мужской монастырь «Оптина пустынь» под Козельском (немало паломников уже и побывало там), а вот про то, что существовал еще и женский монастырь «Оптина пустынь» под Волховом — в 70 километрах по прямой от Козельска, — наверняка мало кто знает. Так вот, порадуемся вместе — этот древний монастырь восстанавливается, своими глазами видели! Хорошо сохранившийся четырехугольник монастырской стены занимает не очень большую площадь, но зато на самом высоком и красивом месте в округе. Открывается прекрасный вид на Волхов и окрестности. Поклонились мы и старым могилам — сохранилось несколько заросших травой плит, в основном с фамилиями Шеншиных. «Этот дворянский род делился на две ветви — болховских и мценских Шеншиных. Поэт Афанасий Фет (Шеншин) относится к мценским», — поясняет Николай Ильич Левин. Дальше — если бы нам ехать прямо — вскоре другой древний уездный город Белев. Не менее знатен, чем Волхов, а если считать по поэтам, то даже опередил соседа — под Белевом, в селе Мишенском родился Василий Андреевич Жуковский, а в самом городе появилась на свет Зинаида Николаевна Гиппиус.

Да, в Волхове дорога писателя делилась на три охотничьих маршрута. Первый — в Жиздринский уезд Калужской губернии. «Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский...» — помните рассказ «Хорь и Калиныч»? В Хорёвке мы с вами, дорогие

читатели, уже бывали. Второй маршрут — тульские засеки под Белевым, где мы когда-нибудь, надеюсь, тоже побываем, а сейчас отправимся третьим маршрутом, то есть в село Льгов, откуда потом, вдоволь настрелявшись уток, Тургенев часто продолжал путь в соседние Карачевские леса и болота, за более благородной дичью — дупелями и тетеревами.

В те же годы, что и в Волхове, мне довелось побывать и во Льгове. Помнится, поднялись на пригорок — и вдали в синеватой дымке показалась серая маковка церкви с сильно наклонившимся крестом.

— Вон он — Льгов...

«Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью...» Уже первая примета из тургеневского рассказа совпадала. А то ведь за год до этого я, еще студентом, прочитал в газете «Правда» очерк известного тогда журналиста о курском городе Льгове, который, как он ничтоже сумняшеся, утверждал, имеет прямое отношение к тургеневскому рассказу: мол, большое степное село Льгов потом стало городом... словом, в духе времени — жизнь идёт вперед! А в реальном Льгове жизнь шла по своим законам, и не совсем вперед, а в чем-то даже и назад...

Если до войны здесь было около восьмисот дворов (крыша касалась крыши), то в 1970-е годы уже только двести. Если река Вытебеть и пруды-озера были полноводны и «в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород... а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!», — то мне с местным стариком-охотником удалось тогда за вечернюю зорьку добыть лишь пару чирков — обмелела после непродуманной мелиорации река, а пруд, на котором чуть не утопили Тургенев и его сотоварищи по охоте, вдесятеро сократился в размере, зарос кустами... Но всё равно сердце мое трепетало от волнения — в целом пейзаж был тот же, что и при Тургеневе, а когда заведующая Льговской библиотекой Мария Петровна Чекулаева показала мне убогую избу, где жил герой рассказа Сучок (хочется надеяться, что читатели сейчас возьмут в руки рассказ «Льгов»), то я и вообще был счастлив! И всё пытался хоть что-то прочитать на единственном уцелевшем камне у церкви. Всё мне мерещились какие-то французские буквы, всё звучала строка из тургеневского рассказа про погребенного здесь французского подданного, графа Бланжия... Но могильный камень был затерт со всех сторон то ли временем, то ли чьими-то неразумными руками. Мария Петровна сказала, что льговцы считают, что именно на этом камне сидел Тургенев, пока ему справляли лодку-дощаник.

И вот через двадцать шесть лет я снова еду сюда, но уже не по пыльному августовскому проселку, а по отличной асфальтированной дороге. Еще в Москве Василий Михайлович Песков со вкусом, мечтательно говорил: «Вот возьмешь ты с собой ружье... А там найдем какой-нибудь дощаник... Воспроизведем тургеневскую охоту!» — «Но тогда, строго следуя содержанию рассказа, мы должны затонуть вместе с дощаником и оказаться по горло в воде!» — «Ну что же, такая наша профессия...» Но никаких подвигов от нас не потребовалось. Еще в Спасском-Лутовинове Николай Ильич Левин нам сообщил, что всякая охота сейчас в Льгове строго запрещена — теперь село вместе с его окрестностями входит в национальный парк «Орловское Полесье». Сообщил с известной долей удовлетворения. Я заметил эту его интонацию и мягко поинтересовался, а как же тогда быть с тургеневским определением: он был «страстным охотником и, следовательно, отличным человеком»? — «Да я совсем не против культурных охотников! Я против браконьеров... Вокруг Спасского сейчас охранная зона, так снова начали весной петь тетерева, снова появились лоси, кабаны и косули. Прибавилось зайцев и куропаток. А браконьеры, прознав про это, всё более наглеют... И защита у них в высоких кабинетах находится!»

Только высказался горячо Николай Ильич, только откинулся свободнее на сиденье, как тут же привскочил неожиданно, показывая через стекло в сторону от дороги: «Вон-вон, еще браконьер один!»

Мы глянули и ахнули: волк! Белым днем, спокойно ходит в двухстах шагах от дороги по свежей пахоте... Мышкует не хуже лисы. Но стоило нам притормозить, как серый разбойник

вскинул голову, одно мгновение оценивал обстановку и, повернувшись в сторону ближнего оврага, не спеша затрусил, держа поленом хвост... Мы огляделись. Хотя и вспахано здесь поле, а место глухое — до ближнего жилья не меньше двух вёрст. Конечно, завязался оживленный разговор на эту тему, каждый припомнил свои прошлые встречи с волками.

Так, за разговором, мы и подъехали к Льгову. И опять первой на горизонте я увидел маковку церкви. Но не прежнюю — темно-серую, с покосившимся крестом — а блистающую в синем небе свежим золотом! И сама церковь, и колокольня, которой я раньше не видел (была разрушена в войну) восстановлены в 2002 году с большим тщанием и мастерством. Что ж, эта новость очень хорошая. «А как вообще-то жизнь во Льгове?» — спрашивает Василий Михайлович Песков, когда мы заходим в библиотеку, которая рядом с церковью. Застаем мы, надо сказать, исторический момент местного значения: моя давняя знакомая Мария Петровна Чекулаева, отработав заведующей 49 лет, сдает сегодня дела юному поколению — выпускнице Орловского института искусств и культуры Любе Ранжевой. Чувствуется, что Марии Петровне грустно расставаться с библиотекой, в свои семьдесят лет она не утратила живого восприятия жизни. А как любит родной Льгов! Даже маленький музей в библиотеке создала — здесь есть интересные экспонаты из истории и быта льговцев. «Село наше впервые упоминается в исторических документах в 1626 году, а основано и того раньше... Да, было во времена Тургенева под тысячу дворов, а сейчас — 72 двора, 170 жителей. Есть восьмилетняя школа, в ней — 35 учеников».

И конечно же, она ведет нас к тому месту, в тот проулок, где когда-то жил Сучок. «В моей молодости у нас бригадиром была Нина Ивановна Волкова, так вот отец ее свекра и был тот самый Сучок...» Потом на машине едем, сколько позволяет дорога, к пруду, где происходили 150 лет назад почти драматические события той памятной охоты... Подходим, продираясь сквозь густую траву и заросли кустов, почти к водному зеркалу останца-пруда — особенно Василий Михайлович усердствует, того и гляди на топком по пояс провалится. Очень хочется ему сделать удачный снимок... Мария Петровна рассказывает, что однажды тут весной видела сидящего на льдине бобра. «А утки и сейчас есть... Каждый вечер крикают!»

В этом мы и сами убедились. Как не упирались и не отнекивались, Мария Петровна всё же затащила нас в дом, угостила вкусной деревенской яичницей и солеными грибами с картошкой, так что вышли мы к машине уже в вечерних сумерках. Утки не только звучно крикали в пойме реки, но и две кряквы пронеслись прямо над нашими головами, как раз посередине Льгова.

2003 г.

У КОЛОДЦА БИРЮКА

С моим старшим другом, знаменитым журналистом и писателем Василием Песковым мы уже немало поездили вместе по России. География поездок обширная, наши постоянные читатели об этом хорошо знают. Особую радость мне доставляют совместные путешествия по тургеневским местам, где когда-то проходила моя журналистская юность и где всегда есть чем «угостить» весьма разборчивого в паломнических маршрутах Василия Михайловича.

Вот и прошлым летом свернули мы с Симферопольского шоссе вправо, сразу за городком Чернь, к прославленному И.С. Тургеневым на весь мир Бежину лугу. Последний раз были мы здесь осенью 2003 года, но хотелось попасть сюда ещё раз именно в июльский день, чтобы всё совпадало с начальными строками «Бежина луга»: «Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго». Именно такой прекрасный, солнечный июльский день нам случился! Только погода явно установилась ненадолго — не то, что в благословенные для природы тургеневские времена! — прошлогоднее лето было очень неустойчиво: то жара несусветная, то дожди проливные, и тем дороже был этот выпавший на наше счастье безукоризненно погожий день.

Была и еще одна причина заехать на Бежин луг... Мне хотелось повторить в год 60-летия

Великой Победы один примечательный маршрут, о котором почти никто не знает. Дело в том, что в начале июня 1943 года, готовясь к битве на Орловско-Курской дуге, начальник генерального штаба, Маршал Советского Союза А.М. Василевский, командующий Брянским фронтом генерал-полковник М.М. Попов, командующий 3-й армией генерал-лейтенант П.П. Корзун отправились из Черни в сторону Мценска на передовую линию обороны 3-й армии. А по пути заехали на Бежин луг, побывали в Спасском-Лутовинове и когда недалеко от тургеневской усадьбы осматривали наши позиции, то довелось им в жаркий полдень утолить жажду ключевой водой из колодца Бирюка...

— Того самого?.. — живо воскликнул Василий Михайлович, когда я сообщил эту, специально для него припасенную новость при подъезде к Спасскому-Лутовинову.

— Да, того самого... Из тургеневского рассказа «Бирюк». Здесь позволю себе небольшое отступление. Даже ещё

не корреспондентом, а только студентом-практикантом в областной газете «Орловская правда», я первым делом напросился в командировку во Мценский район, на родину И.С. Тургенева. А там, оказавшись в лесхозе, тут же стал выяснять: был ли на самом деле в этих местах лесник Бирюк? На что мне достаточно буднично сообщили: «Был. Это сейчас обход лесника Ивана Николаевича Мозгунова». Влюбленный с отрочества в «Записки охотника», я никогда не забуду, с каким трепетом в душе шел за лесником по тропке, пробираясь разросшимся орешником. Потом забелелась, запестрела стволами березовая роща и мой провожатый сказал: «Вот он, Кобылий Верх». Сразу вспомнились слова Бирюка из рассказа Тургенева: «В лесу шалят. У Кобыльего Верху дерево рубят».

Иван Николаевич показал мне тогда, где жил Бирюк. Довольно большая поляна посреди леса была занята картошкой, рядом небольшой сарайчик. «Я здесь тоже жил. Как с фронта пришел, так и попал на этот кордон. Пять лет тут хозяйствовал. Вот так дом стоял, вон там погреб был, теперь один сарай остался, инвентарь в нем храню». А про колодец мне тогда лесник ничего не сказал. Может, потому, что день был уже предосенний, прохладный и жажда нас не мучила...

Прошло много лет, и вот я снова здесь! Нет уже на свете фронтовика и хорошего лесника Ивана Николаевича Мозгунова... Я пытаюсь разыскать ту поляну, где раньше был кордон. И хотя многое тут изменилось, заросло кустами, но всё же нахожу то место — помогают почти полностью сгнившие остатки сарайчика. Зато тропка к колодцу натоптана — теперь сюда приводят местных школьников и наиболее любознательных туристов. Мы спускаемся по ней в пологий лесной овраг вместе с директором музея-заповедника «Спас-ское-Лутовиново» Николаем Ильичом Левиным. Всё сильнее пахнет таволгой, чувствуется близкая вода. А вот и колодец! Николай Ильич бережно поднимает крышку, и нам хорошо видно, как внутри неглубокого сруба быют живые ключи. Кружкой зачерпываем родниковую воду и пьем ее с наслаждением, медленными глотками. Потом присаживаемся на скамеечку, взволнованно говорим...

Как-то так получилось, что хотя рассказ «Бирюк» все проходили в школе, но конкретная судьба лесника оставалась для абсолютного большинства неизвестной. А она, эта судьба, оказалась трагической. Сбылась угроза того жалкого, задавленного нуждой мужичонки-порубщика, пойманного Бирюком: «А до тебя, погоди, доберемся!» Добрались... Бирюка убили свои же земляки-крестьяне, от которых он так стоически оберегал лес.

Отзвуки этой трагедии мы находим в рассказе «Бежин луг», который был написан Тургеневым через несколько лет после «Бирюка». У ночного костра мальчик Костя рассказывает, как шел он из Каменной Гряды в Шашкино (и у Шашкина мы были с Василием Песковым — Н. С.) по лужку мимо бучила и как «вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо...

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится».

Эх, воистину есть от чего жалобиться душе честного лесника и по сию пору... Наверняка Бирюк и представить, и помыслить не мог, что через полтора столетия в России будет

дозволено так нагло и безнаказанно воровать лес!

...Мы посидели, поговорили, попили на дорожку вкусной родниковой воды и побрели не спеша к опушке леса. Вышли как раз к квартальному столбу. Здесь, на границе давнего обхода лесника Бирюка, долго стояли, любуясь начинающимся тихим июльским вечером.

2006 г.

СВАДЬБА В КОЧЕТАХ

От автора. Впервые я побывал в Кочетах (Залегощенский район Орловской области) летом 1975 года. Здесь в последние годы своей жизни часто и подолгу гостил Лев Николаевич Толстой — у своей старшей дочери Татьяны Львовны, бывшей замужем за местным помещиком Михаилом Сергеевичем Сухотиным. Последнее, самое трудное лето своей жизни Толстой почти всё провел в Кочетах — он был здесь в мае, августе, сентябре.

Тогда, летом 1975 года, я прожил в этом селе три дня. Расспрашивал о Толстом всех восьмидесятилетних стариков и старух, которые в детстве видели великого писателя, ходил по старому парку, по окрестностям... Рассказы стариков были интересны. Особенно — история кинематографической крестьянской свадьбы, во время которой произошла одна «маленькая трагедия». Именно она и положена в основу этого небольшого повествования.

Потом я еще несколько раз побывал в Кочетах, находя всё новые и новые подробности. Не раз перечитал также дневники и письма Л. Н. Толстого, воспоминания о нем современников, особенно касающиеся 1910 года. Как-то сам собой возник замысел рассказа...

I

Возвращаясь от нижнего пруда, Толстой в который раз залюбовался могучим трехствольным дубом. Постоял у кряжистого исполина, потрогал потрескавшуюся, грубую кору, легонько похлопал по ней своей продолговатой сухой ладонью, отошел немного и, глядя на густозеленую макушку, промолвил: «А молод ты, брат! Цвести да цвести еще...»

Задумавшись, пошел в гору, к дому. В саду пололи грядки деревенские девочки — лет по десять-двенадцать. Присматривала пожилая жена садовника, по-уличному Кривушка — прозвали так не за косоглазие, а за походку, ходила как-то кривобоко. Она низко поклонилась, когда Толстой проходил мимо. А он, отойдя немного, вернулся, подошел к детям, посмотрел на их работу, похвалил:

— Хорошо полете. А вот песни петь умеете? Девочки поднялись с колен и стали смотреть на старика,

на его бороду, простую длинную рубаху, подвязанную узеньким черным ремешком. Руки у них были в земле, запрокинутые лица в каплях пота.

— Умеют они, умеют... — засуетилась Кривушка. Толстой сел в тени под яблоней. Девочки расположились

перед ним полукругом и, стесняясь, но понукаемые Кривуш-кой, — «зачинайте, начинайте», — запели тоненько:

Солнико мое жаркое
Коло лесу низко ходит,
А за лес не заходит.
Моя мамочка, моя родная,
Коло моего двора едет,
Ко мне в гости не заедет...

Толстой смотрел на огромную недополотую клумбу, на брошенные грабли, на погрустневшие

лица поющих детей, слушал:

Заедь-заедь, моя мамочка,
Ко мне в гости,
Расскажу я тебе, мамочка,
Три-четыре кручины...

И вдруг живо встал. Песенницы тут же умолкли.

— Пойте, пойте, — Толстой как-то растерянно улыбнулся детям, — я тут рядом погуляю, послушаю вас...

А минут через десять вернулся с черной продолговатой коробкой в руках. Открыл ее... Бусы!

— Подходите, выбирайте — это вам за песни.

У девочек заблестели глаза, шеи вытянулись. Потом стали переглядываться, шушукаться: кому подходить первой?

— На палке померяйтесь, — подсказала Кривушка.

Дети обрадовались, схватили грабли и на цевье стали перебирать руками — на самом верху угнезвился кулачок веснушчатой девочки. Она и выбрала себе первой бусы.

— Анька Аксенова добойная, — засмеялась Кривушка. — Ой, да тут все бусы красивые! Помните, девки, подарок его сиятельства Льва Николаевича.

Простившись с детьми, быстро пошел по чисто подме тенной дорожке к дому, бодро взошел на террасу и, глядя в сад, на красивую даль полей за ним, не смог сдержать восхищения:

— Как хорошо здесь! — и, потускнев голосом, добавил: — Если бы еще не знать, откуда всё это берется...

— А-а, ты здесь, дедушка! — пятилетняя внучка Танечка вбежала на террасу. — Я хочу за завтраком с тобой сидеть.

Есть сладкое они уговорились с одной тарелки. Но когда Танечка, из опасения остаться в проигрыше, стремительно принялась работать ложечкой, Толстой запротестовал и шутя потребовал разделения кушанья на две равные части. Когда же кончил свою часть первым, задорно сказал:

— Вот так, Татьяна Татьяновна, дедушка обогнал тебя! Переждал общий смех, задумчиво добавил:

— Когда-нибудь в тысяча девятьсот семьдесят пятом году Татьяна Михайловна будет говорить: «Вы помните, давно был Толстой? Так я с ним обедала из одной тарелки!»

А Танечка между тем кокетничала.

— Дедушка, — лепетала она, — ты поедешь сейчас кататься на своей лошадке? Я хочу покормить ее хлебушком.

— Хорошо, Татьяна Татьяновна. Только сейчас письма напишу.

Через час Толстой вышел во двор усадьбы. У конюшни его уже дожидались дочь и внучка. Сын кучера Сухотиных Иван Гаврилин, скорый на ногу подросток, ловко оседлал серого смиренного жеребца Монгола, которому «Татьяна Татьяновна» смело подала с ладошки хлеб, сел сам на молодую чалую кобылу. Шагом всадники выехали из усадьбы, стали спускаться по дороге к пруду. Кочеты были как на ладони. И Толстой невольно отметил, что все избы стоят только окнами на усадьбу. Так было издавна заведено в имениях Сухотиных. Проехали село, свернули в поля. Молодая кобыленка не хотела идти шагом, горячилась, Иван немного отпустил поводья, и она сразу же обогнала жеребца. Толстой коротко взмахнул плетью, и Монгол пошел рысью, нагнал кобылу. Но та опять рванулась вперед,

— Иван! — недовольно сдвинул брови Толстой. — Изволь ехать за мной, сзади.

Когда поднялись на холм, называемый кочетовцами от веку Малах-курганом, он остановил коня, вздохнул:

— Святой красоты место...

Простор здесь открывался необыкновенный; было видно верст за пятнадцать, до самого Новосия. «Если бы Наполеон воевал в Новосильском уезде, — сказал как-то в доме

Сухотиных Толстой, — то он непременно остановился бы в Кочетах: самое высокое место, и открывается вид во все стороны». Луга, поля, большие села с церквами, деревушки, березовые перелески вольно лежали перед глазами в мягкой дымке, и хотелось, чувствуя радостный холодок в груди, смотреть на всё это долго, бесконечно.

Тихо тронул коня и с мягким, добрым выражением на лице задумался... Так он ехал около часа — по самым глухим тропинкам, переезжал рвы, канавы, пробирался сквозь кустарник. Голова всадника была чуть опущена — со стороны казалось, что он задремал. Жеребцу, наверное, надоело идти по бездорожью, и он сам свернул к тракту, густо обсаженному вербами.

Ветка задела Толстого по лицу, и он, вздрогнув от неожиданности, обернулся назад, улыбнулся Ивану и пустил жеребца крупной рысью. Скакали четверть часа, пока не въехали в село Ломцы. Здесь у лавки спешился, отдал повод Ивану. Не успела за ним закрыться тяжелая дубовая дверь, как один из мужиков, что стояли возле лавки и пристально наблюдали за ним, негромко сказал:

— Небось на том свете черти уже все фонари поразбивали, его искамши, а он всё еще тут ходит.

Когда выехали из села, Толстой вдруг спросил:

— А что это мужики там про фонари говорили? Иван растерялся.

— Да это... Мол, кто-то фонарь возле лавки разбил... Толстой усмехнулся, его небольшие колючие, серо-голубые глаза впились в подростка испытующим взглядом, сказал укоризненно:

— Нехорошо, Ваня, неправду говорить...

Прошлым летом в этих самых Ломцах он был на ярмарке. Чувствовал себя тогда очень свободно: его никто не узнавал, разве одни кочетовские парни. Они обступили Толстого и все за ним ходили. Одна старуха спросила: «Что это такое, али старого старика женят?»

И даже в мае этого года его еще совсем мало знали здесь. Так, когда приехал в Ломцы со своим секретарем Валентином Федоровичем Булгаковым осмотреть лесопарк князя Голицына, то сторож его не пустил. Булгакову пришлось сказать, что этот просто одетый старик — «тесть Михаила Сергеевича». Сухотин потом смеялся: «Есть же такая точка на земном шаре, где имя Толстого имеет меньше чести, чем тесть Михаила Сергеевича!»

Толстой сейчас вспомнил об этом, с горечью подумав, что, видно, нет на земном шаре такой точки, где бы искренне верили в отделимость просто человека и писателя Толстого от его сиятельства графа Толстого...

И докажет ли что-нибудь народу завещание, которое он недавно составил и по которому после его смерти все средства от продажи его книг должны идти не семье, а на общую пользу?.. Софья Андреевна рвет и мечет и дошла уже до крайности: старается выставить его, Толстого, ослабевшим умом и потому сделать недействительным его завещание...

Когда пятнадцатого августа Толстой собрался в Кочеты, Софья Андреевна настояла на том, что поедет вместе с ним. «Зачем же я тогда уезжаю?» — с досадой сказал он дочери Татьяне Львовне. А Софья Андреевна по дороге твердила: «Зачем он больной едет?» — и приводила всякие выдуманные ею причины, не назвав главной, — Толстой решил надолго уехать из Ясной Поляны, чтобы она меньше раздражалась и чтобы самому отдохнуть от ее жалоб, требований, укоров, сцен.

Хорошо, что она на днях вернулась домой, оставила его одного... Теперь он, кажется, сможет продолжить давно начатую статью о причинах той безнравственной жизни, которой живут сейчас все люди. Название, пожалуй, стоит оставить прежнее — «О безумии».

Вдали показались Кочеты. Толстой направил коня левее, объехал деревню полем, опять поднялся на Малах-курбан. Открывшиеся окрестности снова смягчили его лицо, и он воскликнул:

— Как далеко видать! Как я люблю эти горизонты!

Пятого сентября в Кочеты вернулась Софья Андреевна. Она привезла с собой известного — первого русского — кинооператора Дранкова и его помощника Козловского. В доме Сухотиных в этот час все были в беспокойстве: на улице холодно, льет дождь, сильный ветер, а Толстой с доктором Маковицким как уехали утром верхами в деревню Александровку, так и не возвращались. Но вот на дворе усадьбы появились, наконец, всадники.

Толстой быстро поздоровался с гостями, попросил у Татьяны Львовны сухого белья и прошел к себе. За ним — Софья Андреевна. Она мягко попеняла мужу, что он в его возрасте позволяет себе в такую погоду верховые прогулки, а потом показала письмо Марии Николаевны Толстой, в котором та пишет, что есть слухи, будто Софья Андреевна и Лев Николаевич разводятся. И хорошо, если Дранков снимет на пленку их вместе... И, заметив, как блеснули насмешкой глаза Толстого, поспешила перевести разговор на другую тему:

:— Дранков и Козловский, Левушка, приехали снять в натуре русскую крестьянскую свадьбу. С полным старинным обрядом. Знаешь, с тройками, с песнями, в нарядах... Таня взялась им помочь. Хорошо, если и ты будешь на свадьбе среди крестьян...

— А я на прошлой неделе заходил на одну кочетовскую свадьбу. Жалкое зрелище, нищета... Пьяная родня невесты и жениха передралась за что-то кольями. Какие, Соня, тройки, какой старинный обряд?

— Ну, конечно, будет подготовлено, как необходимо. Михаил Сергеевич и Таня все берут на себя...

— Опять ложь, спектакль... А впрочем,— Толстой усмехнулся, — хоть люди наедятся да жениху с невестой растрат не будет...

Наутро Толстой занемог — сказала вчерашняя двенадцативерстная прогулка под дождем. Простуда и опухоль ног. Весь день ничего не ел и не пил; к тому же прибавилась изжога. Софья Андреевна ходила недовольная — привезла, мол, людей, а дело стоит, и погода для съемок подходящая... А всё из-за того, что он, неразумный старик, изволит заниматься глупыми прогулками. Потом приступила к Маковицкому, но добрый Душан Петрович ничего определенного обещать не мог, кротко отвечал: «Если Льву Николаевичу дать полный покой, он скоро поправится, дня через четыре». А деятельный Дранков жаждал работы.

Решено было начать съемки завтра.

Между тем с крестьянской свадьбой дело не ладилось. Оказалось, что все свадьбы в эту осень кочетовцы уже отгуляли — помог рано собранный в погожее лето урожай. Но не таков был Александр Иосифович Дранков, чтобы отступать от задуманного. Человек поистине вездесущий: на парадах, похоронах, пожарах, обвалах, наводнениях, встречах коронованных особ — самым непостижимым образом умудрялся поспевать вовремя. Без него, как говорится, не праздновали, не хоронили, не горели здания, не бушевала стихия... Дранков предложил нанять за деньги на роль жениха и невесты парня и девку. Но и тут получилась заминка: никто из деревенских не соглашался становиться «невсамделишными» женихом и невестой — грех, посмешище на всю округу...

Выручила горничная Сухотиных Фекла Федосова — безродная красивая девка, взятая в прислуги еще в детстве от умерших родителей. За десять рублей она согласилась «побыть на день невестой».

— Теперь ищи себе жениха, — весело сказал Фекле Дранков, откровенно любуясь ее русской, степной красотой.

— А чего искать... — спокойно, с ленцой в голосе — выговор у нее был не по-крестьянски правильный — ответила она. — Захара Снегирева зовите. До неба от радости подпрыгнет.

Барский свинопас Захар Снегирев, по-уличному Цукан, — прозвали так за его каждодневные громкие крики на свиней «цу-цу, пошли!» — уже давно любил Феклу. Год назад он сватался к ней, но Фекла отказала: свинопас горничной не пара...

Когда перед Дранковым предстал Захар, тот остался доволен им — крепкий, тихий с виду парень, с добродушным открытым лицом.

— Целуй крепче невесту на свадьбе, может, и по-настоящему вас женим! — пошутил

Дранков. Захар мялся, густо краснел, денег не брал.

— Так ты отказываешься, что ли? — криливо, с вызовом спросила его Фекла. Ей жалко было лишиться десяти рублей и дармового праздника.

— Если б взаправду... А так...

— А если будешь хорош да пригож, да понравится мне с тобой на людях под рушниками сидеть, так я еще и подумаю, может, и взаправду... — Фекла подошла близко к Захару, мягко попросила: — Соглашайся!

Захар сразу побледнел и забормотал:

— Ну, тогда ладно... Тогда, может, оно и того... Словом, дело сладили.

На свадьбу Сухотины выставили четыре ведра водки, два — красного вина, забили старого быка. День был солнечный, столы накрыли под открытым небом, на лугу у пруда. Собралась вся деревня, в праздничных нарядах, детям раздавали сладости.

Вот свадебный поезд из четырех пароконных телег лихо, под звон бубенцов помчался за невестой. Шутейный выкуп, величальные песни, пляски... Смешным показался Дранков — бегают за всеми, целит аппаратом то в мужика, то в бабу. И маленькую черную ручку без передыху крутит.

Свадьба набирала силу: пришедшие из любопытства крестьяне постепенно забыли, что они на представлении, все были захвачены красотой, истинной поэзией древнейшего народного обряда. Раскраснелась, еще больше похорошела Фекла — в ее потемневших зеленых глазах угадывалось волнение неподдельное... А Захар, чистый, вымытый, в подаренной ему Татьяной Львовной вышитой рубахе, смотрелся бы совсем молодцом, если бы не его жалкая, растерянная улыбка, беспрестанно блуждающая по бледному, в красных пятнах лицу. Когда за столом подвыпившие крестьяне стали громко кричать «горько», он умоляюще глянул на Феклу — та спокойно встала, подставила для поцелуя губы (за это Дранков вчера по ее требованию заплатил еще два рубля). Родной дед Захара Дмитрий Снегирев потянулся через стол к внуку со стаканом, но повеселевший Захар отстранил его:

— Не-не, не годится, я — жених... В ответ дед пьяно захохотал:

— Ты жених, что я моряк — с печки бряк!

И сразу колкие смешки пошли по столу. С дальнего края вскочил Микешка, известный своей буйностью мужик, замахал руками, забрызгал слюной:

— Невесту обневестим! Не тужись, Захар, запрем вас в хате на ночь и попа приведем!

— А что? Повезли-ка их в церковь. По-божьему будет...

Татьяна Львовна не резко, но твердо осадила крикунов, бабы затянули песню. Дранков опять забегал со своим аппаратом. И тут помрачневший, выпивший подряд два стакана водки Захар вдруг вскочил, крепко обхватил руками Феклу и волоком потащил к стоявшим рядом телегам, вскрикивая: «Люди добрые! Помогите... всем миром... в церковь... по совести людской!» Фекла пронзительно, зло завизжала. Подоспевшие мужики отняли ее у Захара, и он истуканом, с исцарапанным лицом смотрел, как убегала к господскому дому его «невеста». Горько заплакал и бросился к пруду — топиться. Его поймали, облили голову ведром колодезной воды.

— Как всё хорошо шло, и вот... — огорченно разводила руками Софья Андреевна. И добавила, помолчав: — Лев Николаевич не должен знать об этом. Его это сильно расстроит. Их пролетка подъезжала к дому, но и сюда, за полверсты от застолья, через густой парк, доносились нестройные, пьяные то ли крики, то ли песни крестьян. И слышны они были до самой глубокой ночи.

III

Толстой поправился раньше, чем ожидал Маковицкий, — через два дня утром вышел на свою обычную прогулку. В парке разговорился с пилющиками дров. Один из них попросил у Толстого его книжки, на что тот ответил:

— Книжки в доме, у доктора Маковицкого. Иди попроси, он даст.

— Я бы пошел, да боюсь работу оставить. Управляющий заругает...

— Ничего, иди, я тебя заменю.

Крестьянин пошел, а Толстой взял пилу и начал пилить дрова. Вскоре с киноаппаратом прибежал узнавший об этом Дранков и снял на пленку работающего Толстого. Тут подошла Софья Андреевна. Вечером Толстой записал в дневнике: «Софья Андреевна становится всё раздражительнее и раздражительнее. Тяжело. Но держусь. Не могу еще дойти до того, чтобы делать, что должно, спокойно... Я походил на солнце, Софья Андреевна непременно хотела, чтобы Дранков снимал ее со мною вместе...»

Уехали Дранков с Козловским. Софья Андреевна сразу стала требовать отъезда Толстого из Кочетов. Жаловалась на крутую боль, хваталась за голову, плакала, потом убежала в парк, где пропадала почти весь день. Толстой послал за ней Маковицкого, с горечью говоря:

— Ох, Душан Петрович, всё хуже и хуже, всё идет к худшему. Софья Андреевна настаивает, чтобы уехать с ней. А я решительно не могу это сделать! Там, в Ясной, с этим проклятым завещанием она меня доконает. Ох, не знаю, что делать!

Толстой не уступил, и двенадцатого сентября Софья Андреевна одна уехала на Мценск. Жизнь пошла наконец поспокойнее. Толстой опять подолгу стал ездить верхом по окрестным селам, ходить пешком. Как-то гулял по кочетовской улице с местным учителем Диомидовым и встретил оборванного и нетрезвого Микешку. На вопрос, с чего он напился, Микешка ответил:

— Ровно неделя, ваше сиятельство, как гуляю — с самой потешной свадьбы.

— С какой такой потешной?

— Аль не знаете? У-у, погромить бы, распушить всё! И нашего товпыгу первого! — Микешка показал на видневшуюся вдали красную крышу дома Сухотиных.

Толстой смотрел на него в раздумье. Потом сказал:

— За такие разговоры, Микешка, тебя в острог надо. Разговоры твои пустые. Время еще не пришло.

— Что ж, на том свете его дожидаться? — перебил Микешка.

— Свет только один, — Толстой помолчал. — А придет время — всё ваше будет.

— Само не придет, Лев Николаевич... — осторожно вставил Диомидов.

— Но разрушением его тоже не приблизишь, Иван Михайлович, — резковато ответил Толстой. — Надо человека выправлять, а не поджоги устраивать. Или вы забыли свою анкету?

Диомидов невесело вздохнул. Недавно он провел опрос среди здешних и окрестных крестьян и крестьянок: пьют ли водку дети и кто угощает? Вышло, что пьют все, начиная с четырех-шести лет, угощают их родители, и вреда в питье взрослые не видят. Это Толстого поразило, и он жалел, что не привез плакатов «Посредника» против пьянства.

Зашли в лечебницу навестить фельдшерицу Анну Ивановну Путилину, хромую тридцатилетнюю девицу. Она уже несколько лет жила в Кочетах, самоотверженно выполняя свой врачебный долг. Толстой разговорился с ее старухой-матерью:

— Не скучно жить тебе здесь, Кузьминишна?

— Нет, батюшка Лев Николаевич, не скучно. Вот только в церковь далековато ходить.

— А любишь молиться?

— Не нами заведено... Надо молиться, веру укреплять...

— Веры разные бывают...

Кузьминишна пристально взглянула на Толстого, спросила:

— Вот ты, батюшка, много о верах понимаешь... Какая ж вера лучше?

Толстой в ответ хитровато прищурился. Потом оглянулся на ожидавших очереди больных мужиков и баб, тихо сказал старухе:

— Да видно, Кузьминишна, какого вина ни напейся — одинаково голова будет болеть.

Дни стояли ясные, теплые, а утра — по-осеннему холодные. Толстой чувствовал слабость, сильную и продолжительную — такой в прошлом году не было, — но всё равно, проснувшись, сразу шел к нижнему пруду, к большому дубу. Он прощался с полюбившимся

ему великаном, прощался с Кочетами до будущего лета... — если на это, как сказал Сухотиным, «будет высшая воля», и добавил: «Но не высшая воля Софьи Андреевны».

Но всё-таки воля жены давала себя знать: дату приезда в Ясную назначила она, подкрепив веской причиной: двадцать третьего сентября — 48-летие их свадьбы.

— Надо угодить, надо угодить... — нерешительно согласился Толстой, прочитав очередное письмо-требование Софьи Андреевны. — Всё-таки такой день... Как далека она, наша свадьба!

И неожиданно взволновавшись, спросил у Татьяны Львовны:

— Что это мне на днях про какую-то потешную свадьбу пьяный Микешка плел?

Татьяна Львовна смешалась. Начала было говорить о беспробудном пьянстве беспутного мужика, но, встретившись с твердым, пронизывающим взглядом отца, всё-таки — хотя и сглаживая, осторожными словами, опуская безобразное завершение «свадьбы», — рассказала... Толстой тяжело вздохнул, молча повернулся и, слабо шаркая ногами, ушел в свою комнату, заперся на ключ.

«Потешная свадьба, потешная свадьба... — не выходило у него из головы. — Потешная свадьба? Потешная... жизнь?» И нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, равнодушия, опустошенности. И страшно было признаться, но признание это вышло сейчас само из него — что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед многими и многими вопросами остаешься в нерешительности, в сомнении...

Утром, в день отъезда, он из окна увидел на дворе кучерского сына Ивана Гаврилина, окликнул его:

— Найди-ка мне свинопаса Захара Снегирева. Иван охотно побежал за конюшни, скоро вернулся:

— Занятой он. Хряка с работником облегчает. — И хитро улыбнулся, показывая щербатый рот: — Обженивают его, значит...

Толстой легонько кивнул Ивану, отпуская его, постоял у раскрытого окна. Через минуту ему стало зябко, он, поморщившись, передернул плечами, про себя решив, что на прогулку сегодня не пойдет.

...Оставалось полтора месяца до той последней его минуты на маленькой железнодорожной станции Астапово, до тех последних его слов:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал... Надо удирать, надо удирать куда-нибудь.

IV

Захар Снегирев свой век прожил бобылем.

Фекла Федосова замуж не вышла, оставшись для коче-товцев «десятирублевой невестой».

Этнографическая картина «Крестьянская свадьба» была выпущена ателье А. Дранкова и обществом «Чинес» 11 апреля 1911 года. Местонахождение ее в настоящее время неизвестно.

1980 г.